

«Полет над судьбою»

Льву Савельевичу Друскину,
поэту задушевной интонации и человеку щедрого сердца,
30 января 1996 года исполнилось бы 75 лет

Уже пять лет его нет с нами. Пять лет продолжается его по-смертному существование. Сокращается — по приговору времени — круг людей, непосредственно знавших этого человека, но дар, оставленный поэтом, находит новые адресаты. Недавно на санкт-петербургском радио прозвучала композиция из стихов Друскина. После передачи еще долго приходили благодарные письма, а актриса, которая читала стихи поэта, по собственному признанию, была буквально заморожена открытием поэтического мира Льва Друскина.

О самом Льве Друскине написано немного. Как всегда, за поэта говорит написанное им. Он поэт, этим и интересен. Биографически жизнь этого человека делится на два неравных периода: родился в 1921 году и до 1980 года жил в Ленинграде, в 1980 году поэт был вынужден покинуть Россию.

Олег Малевич, друживший со Львом Савельевичем многие годы, сообщает в предисловии к сборнику стихов и прозы «Спасенная книга»:

«Всю жизнь, с раннего детства, Лев Друскин писал. До отъезда он успел выпустить шесть сборников стихов, набор седьмого был рассыпан по указанию свыше. Но в сущности его печатное наследие — это итоговый стихотворный сборник «У неба на виду», выпущенный в 1985 году нью-йоркским русским издательством «Эрмитаж», и автобиографическая «Спасенная книга», впервые вышедшая годом раньше в Англии».

Есть в искусстве, как и в жизни, вещи, которые убедительны и держатся своей самодостаточностью:

*Мой разум недоверчив — есть предел!
Но отчего в душе легко и звонко?
Вчера в лесу я видел олененка.
Бог, стоя рядом, на него глядел.*

Такая честная, зрелая и неприхотливая манера письма позволяла Льву Друскину быть внятными там, где многие сбивались на дежурную патетику, — я имею в виду сокровенные темы, которые входят в человека (или человек входит в них) и которые сигнализируют о нормальных неизбежностях человеческой судьбы. Проще говоря, поэтическое наслаждение автор получает тогда, когда записывает свое ощущение и понимание жизни, смерти, любви, Бога, природы, вечности...

Лев Друскин был инвалидом с детства. Восемь месяцев он заболел полиомиелитом. Дети обычно начинают ходить с года-полтора. Лева, уже больной, мог лежать и лежал до этого времени, как все дети. Но все дети потом встали на ноги, а будущий поэт вступил в жизнь иначе.

Ситуация со здоровьем могла меняться только в одном направлении — она могла становиться только все более пограничной в самом клиническом и психологическом смыслах этого слова.

Со смертью нельзя заигрывать.

Самое каждодневное существование поэта было не метафизическим, а буквальным «бытием-перед-смертью». То, что одним суждено было пережить как трагическое, но мгновенное открытие, Лев Друскин переживал как длящееся и мучительное открытие.

Настоящее откровение, которое поэту подарил мир, стало вместе с тем и откровением ничем не оправданной утраты — утраты в момент, когда душа поэта становится самоговорящей плотью этого мира.

*...И весь город изваян
Не вокруг, а во мне.
Умираю в больнице
Наяву, наяву.
А ночами мне снится,
Что я снова живу.*

Экзистенциализм оставил нам несколько гордых поучений о «педагогическом» пафосе смерти в жизни человека. В реальной жизни леденящее дыхание Танатоса Лев Друскин чуял по законам живого человека.

Он прошел все эти круги переживаемой смерти: от чувства катастрофы и напрасности до радостной высказанности в слове — в том числе и слове о смерти.

Мир устроен как устроен. Травмирующий факт смерти — это всегда повод к разочарованию в миропорядке: «Идет беда по коридорам, / Сосед притих и спал с лица... / И этим Божеским поборам / Не видно доброго конца».

И все-таки смерть — это в конечном счете и то, как мы ее встречаем. Это наш, а не ее автограф об этой встрече. Это наше последнее прижизненное достоинство.

Есть много настоящих и ненастоящих поводов к взысканию человеком человеческого достоинства. Но это — последний случай, рискну сказать, даже шанс. Есть ли на что опереться — вот в чем вопрос.

*Среди иных планет
Я знаю: человек
Не вывернется, нет.
.....
У бездны на краю
Я обопрусь на стих
И встречу смерть мою.*

Бог всегда так или иначе присутствует в делах человеческих: у атеистов как тема, у верующих как реальность. Своей поэзией Лев Друскин свидетельствовал: Бог прошел через его жизнь не только как тема. Свои сомнения и упования он выразил в стихах, выразил, как на исповеди. Многие узнавали в них и собственные тревоги и надежды.

Он не был воспитан в вере, но не был и безбожником — жертвой официального атеизма или либерального агностицизма. Да, он засвидетельствовал скепсис, который скорее сродни эстетизму, чем тупиковому отчаянию. «Быть может, здесь, у этих книг, / Железной схваченной тоской, / Я тоже только черновик, / Что скомкан Божией рукой».

Поэт бескомпромиссно и сво-



Лев Друскин.

бодно фиксирует свой опыт, и сам каждый раз убеждается: это опыт о Нем.

*Теперь все чаще, Господи, все чаще
В тумане перепутанных дорог,
Из бурелома, из словесной чащи
Навстречу мне выходит слово Бог.
Я от него не в силах уклониться...*

В своих воспоминаниях Лев Савельевич пишет, что ему дорога мысль Бердяева «Бог — не околочный». Поэт принял первое условие, данное свыше, — человек и веру должен выбрать свободное.

Но на пути к Творцу есть и другое открытие. Авторство формулировки опять же принадлежит Бердяеву: «Личность предполагает реальность того, что выше ее и глубже ее. Личности нет, если нет ничего выше ее». К этому пониманию, думаю, шел Лев Друскин, повторяя путь многих ищущих людей. Шел, но не успел... «Душа изнемогла, / Пора подбить итоги... / Подумать бы о Боге, / Да скорость не дала!»

В своей жизни Лев Друскин успел не много и не мало. Он принял свою жизнь, благословляя ее как дар: «Праздник жизни — новый день». Отсюда прозрачность его мастерского стихосложения. Непринужденность, которая может быть рождена только благословенным восприятием всего, что подарил ему этот мир.

Соседи по даче Семеновы («У Семеновых топят, / Значит, осень пришла»), подсмотренные сцены военного тыла («Проститутка в мятом платье, / Понимая что к чему, / Говорит: «Пойдем, солдатик, / Я недорого возьму»»), Пизанская башня («Доверчивый угол, полет над судьбою!»), верный человек («Моя жена в тени / Коричневого кедра / Перебирает дни, / Рассыпанные щедро»), пустая конфетная обертка на мостовой вечного Рима («Вот ветер бумажку по городу гонит»).

Поэзия Друскина возвращает нам совсем не умиленный мир. Стихи возвращают нам мир значимых, почти символических картин. Возможно, с такой поэзией возвращается естественный символизм образительного слова.

Эпоха классического символизма ушла безвозвратно. После него поэтический мир надолго окунулся в роскошество метафоры. Сегодня поэзия старается держаться поближе к семантике, которую она черпает из повседневности. Мир по-прежнему значим. Со всем нет нужды трактовать и пытаться его классическими символами. Мимолетные мгновения жизни в интерьере неизбежных случайностей создают у читателя настроение загадочной значимости.

Стихи, написанные поэтом Друскиным, — это картины, созданные языком настроения. Они и читательским слухом и зрением воспринимаются не внешним, а внутренним «приемником». Куда ведут эти ассоциации? Очень просто: каждого из нас — к самому себе.

*И будем мы, счастливые,
идти...
И так легко нагонит нас
в пути
Вчерашний гость,
подвыпивший мальчишка.*

Художественный мир Друскина — это прежде всего настроение, и он продолжается в настроении всякого, кто раскрывает его книги и читает:

*Леса брошены черные,
Поля едва намечены —
Они готовы не вполне
И не очеловечены.
.....
И я стою, как день, устав,
В печальной отрешенности...
На всех деревьях и кустах
Налет незавершенности.*

К концу 70-х два процесса набирали силу и шли к неизбежному столкновению друг с другом. В поэте рос напор и желание без самоцензуры высказаться в слове, а система деградировала в своем совершенстве вычислять и изолировать все на этот счет подозрительное.

К 1979 году Лев Савельевич начал писать книгу воспоминаний — «Спасенную книгу». Первоначальное название было иным — «Как перед Богом». Ленинградское КГБ, отличавшееся особой подобострастностью перед московским начальством и усердной изощренностью в методах своей работы, повело буквально круглосуточную охоту за автором и его книгой.

«Открытое общество» Друскиных совсем не было конспиративной квартирой. Можно сказать, что, напротив, это была республика проходного двора: здесь пребывала половина литературного и художественного Ленинграда. Это каким-то образом облегло полицейское наблюдение.

Система опасалась книги, написанной поэтом. Спасение книги стало как бы самостоятельной темой, вполне заслужившей свое право быть вынесенной в заголовок.

«Спасенная книга» автобиографична в том смысле, в каком в ней изображены в точных и колоритных картинах эпоха и люди, оставившие биографические отметины на судьбе поэта. Советская жизнь с 20-х по 70-е годы, увиденная инвалидом тела и чистосердечным энтузиастом духа, — панорама этой жизни сильно отличается не только от принятой тогда официальной, но и от той, которой жили его более удачливые по здоровью и карьере именитые

современники. «Спасенная книга» — это свидетельство (когда уже нет в живых самого Льва Савельевича) о многих еще живых коллегах поэта. В ней он не счел нужным замалчивать «проклятые вопросы», которые нелицеприятно запрашивались сами собой.

Хорошо известно, что многие из живущих, чьим делам умный и впечатлительный поэт Друскин был свидетелем, с откровенным опасением готовились к встрече со «Спасенной книгой». Многие, как гоголевские герои из «Ревизора», готовы были читать книгу только до странички, где они наткнулись на свои художественные портреты, точнее, портреты своих «художеств». Но «Спасенная книга» была одновременно и самокритикой, дававшей автору обретение собственного гражданского лица. Но это, впрочем, как всегда: поэт делал больше, а книга давала поэту больше, чем он ей, — давала недостающее...

Лев Друскин сказал в одном месте «Спасенной книги» очень сильные и страшные — по человеческим меркам — слова: «И если где-нибудь в оккупированной <нами> стране выстрел сразил моего друга или жену, я бы и в страшном горе своем осознал, что это пуля справедливая».

Такого уровня самостоятельности советская система, привыкшая к употреблению глаголов только в повелительном наклонении, простить, конечно, не могла. Система с привычным цинизмом отыгралась на Льве Друскине.

Продуманная до мелочей жестокость была нормальной формой отношения власти к поэту. Официальная родина мстила поэту-инвалиду буквально на последних метрах своей территории и минутах пребывания в Пулковском аэропорту.

В своей «Спасенной книге» Лев Савельевич вспоминает эпизод за эпизодом посадки на самолет:

«Служащие получили приказ не помогать — это стало ясно с первых минут. Старики-пассажиры растерянно хватились за свои вещи. У дверей стоял здоровенный лоб в пограничной форме.

*Я спросил:
— Поможете?
Он качнул головой и процедил:
— Нет...*

Чего они хотели — наказать меня, потрепать нервы, поглумиться под завесой? Не знаю...

С балюстрады доносились звуки возмущения. Внезапно я почувствовал, что коляска отрывается от земли. За нее ухватились сразу несколько человек. Это были старые люди, но они справились... Однако поднять меня по узкому трапу стариком было действительно не под силу. Экипаж застыл, вызываясь скрестив руки на груди. Какой-то находившийся под крылом парень в спецовке, очевидно, механик, сделал несколько шагов в нашу сторону и, спохватившись, остановился...

Тогда Лиля стала кричать иностранцам. Подбежали двое... Одною я обхватил за шею, другой взял меня под колени, и по тесному проходу они протиснулись со мной в первый салон...

Лев Савельевич Друскин не боролся с советским режимом. Он жил и работал, как думал. Это режим видел единственный смысл в борьбе на уничтожение таких, как поэт Друскин и многих других.

Пять лет уже нет с нами поэта, Почти столько же нет и советского режима.

Память о Льве Друскине хранится не только в сердцах тех, кто его знал при жизни. Книгами и посмертной славой поэт возвращается на родину. А что осталось от режима? Практически ничего.

Одинокий голос честного и талантливого человека среди железобетонного и бессмысленного порядка кремлевских геронтократов все же не был глазом вопиющего в пустыне. Как говорил Уильям Блейк: «Каждый честный человек — пророк».

АЛЕКСАНДР ЩЕЛКИН

Тюбинген